

КОГДА Кейтлин подвозят к дому, я стою у дороги. Никто не сообщал мне, когда ее выпишут из больницы, но у меня предчувствие, и я болтаюсь тут уже целое утро. Слоняюсь туда-сюда, обрываю едва зажившими пальцами пожухлые головки гераней на подоконниках, скатываю подошвами зазеленевшие после дождя травинки в бурые колбаски. Из-за густой завесы облаков кажется, что заросший плетистыми розами дом и монастырь ниже по склону холма накрыты огромным брезентовым навесом. В глаза бросаются открытые ставни. Все лето они оставались запертыми, не впуская солнечных лучей. Теперь влажный воздух свободно врывается внутрь.

Я стою спиной к нашему дому и из-за ветра и шелеста листьев слышу скорую, лишь когда она выезжает из-за поворота. Машина медленно взбирается по склону, мотор низко урчит на второй скорости, и я могу не спеша заглянуть в окна. Кейтлин не лежит сзади на носилках, как три недели назад,

когда ее увозили под вой сирен. Она сидит справа от водителя, уверенно глядя перед собой, словно развезжать на скорой помощи для нее привычное дело. («Не понять мне тебя», — как-то признался я. Она обернулась ко мне: «Когда все время переезжаешь, уже не заводишь новых друзей».)

Водитель осторожно поворачивает. Я слежу за машиной не только глазами, но всем телом: медленно оборачиваюсь вокруг своей оси, свесив руки по бокам, вытягиваю подбородок. Неожиданно я встречаюсь с Кейтлин взглядом. Мне хочется кивнуть, подмигнуть ей, крикнуть что-нибудь, но я словно окаменел. Она смотрит на меня, как смотрят из окна проезжающей машины на дом или на незнакомого прохожего, до которого тебе нет никакого дела. Вид у нее самый обычный, ничего особенного, если не считать желтизны лица. Кейтлин сидит прямо и тянет шею, как цапля перед взлетом. Я знаю ее словечки, жесты, гримасы. Представляю, как она смотрит на что-то, потом, моргнув, оборачивается и переспрашивает: «Что ты сказал?» Она сидит в машине, как самая обычная девчонка: девчонка, которая съезжает со склона на велосипеде и забирается обратно пешком, девчонка, которая в жаркий день залезает по колено в пруд и внезапно с визгом плюхается в воду, девчонка, которая без маминого разрешения садится за руль, чтобы прокатиться среди холмов, и вопит: «Черт, тормоза заело!»

Наши взгляды на полсекунды пересекаются, и я тут же отвожу глаза куда-то вдаль, а Кейтлин — на дорогу, но кажется, это длится не полсекунды, а вечность.

Я вдруг ясно вижу себя со стороны — как стою тут, в джинсах, в кроссовках на босу ногу, вытянув шею, чтобы получше рассмотреть Кейтлин. Ладони у меня кое-где еще перевязаны. Я тру их, чтобы почувствовать боль, но раны подсохли и почти зажили, разве что кожа вокруг ногтей онемела, а новая, наоборот, чересчур чувствительна. Внезапно я понимаю, зачем стою здесь: хочу показать, что мне не стыдно за случившееся.

Белый автомобиль исчезает за деревьями, и я иду в дом. Мать переносит садовые стулья под навес и накрывает сиденья полиэтиленом; я ничего не говорю ей. Вхожу с тыльной стороны дома и поднимаюсь по лестнице в спальню, которая раньше принадлежала деду. Прикрываю дверь, а услышав шаги матери, поворачиваю ключ в замке. Посреди комнаты стоят два чемодана — я собрал их еще утром. Переставляю их к стене. Пытаюсь бесшумно пододвинуть письменный стол к слуховому окну, но это дело непростое: половицы неровные, а стол тяжеленный. Его ножки скрипят и царапают пол. Залезаю на стол и сквозь прорехи в листве смотрю на монастырский двор.

Как раз вовремя. Скорая въезжает во двор, сбавляет скорость и останавливается. Водитель выхо-

дит, почти выпрыгивает из кабины, словно демонстрируя, что он в отличной форме. Едва ли не вприпрыжку огибает машину и открывает дверь со стороны Кейтлин. Сначала он достает два серых костыля и прислоняет их к открытой дверце. Затем подставляет левую руку. На его белом рукаве появляется рука Кейтлин — и волосы у меня на затылке встают дыбом. Как будто она дотронулась до моей руки. Ладони у нее всегда прохладные и не потные, словно из-под струй ледяной воды; я брал ее за руку почти каждый день, когда мы спускались по пастьушей тропе в нижний город и перелезали через утес Шаллон, чтобы срезать путь.

Водитель помогает Кейтлин выйти. Она с трудом выбирается из машины. Вроде бы ничего необычного, и пару секунд я верю, что все чудом закончилось хорошо. Но тут Кейтлин оборачивается и, чуть откинув голову, замирает. Она, конечно, знает, что я залез на стол и слежу за ней. Выражения ее лица мне не разглядеть — она слишком далеко. Начинает моросить. В монастырский двор, словно по ошибке, залетает стая голубей, и птицы вразнойой приземляются в нескольких метрах от нее. Кейтлин берет по костылю в руку и чуть расставляет ноги. И я вижу: левой ступни у нее нет.

— **Л**УКАС! — зовет мать снизу.

— Да? — отзываюсь я, не двигаясь с места.

Кейтлин все еще смотрит на меня, пока ее спутник достает из машины вещи. Он вытаскивает голубую спортивную сумку в полоску, хочет поставить ее на землю, но, засомневавшись, перекидывается с Кейтлин парой слов и перебрасывает ремень через плечо. Потом снова ныряет в машину и достает два букета цветов.

— Я знаю, что ты там делаешь! — кричит мать.

Слышно, как она поднимается по лестнице. Я мягко, по-кошачьи, спрыгиваю со стола, с трудом приподнимаю его и, стараясь не задеть пол, переносу на место. На столе лежат два толстых романа — дед, судя по всему, читал их долгие недели перед смертью. Книги сдвинулись с места, я поправляю их. И прежде чем мать окажется у двери, поворачиваю ключ.

Мать заходит, руки у нее мокрые от залитых дождем ступлей. Она быстро оглядывает комнату и улыбается.

— Я была готова поклясться, что ты стоял на столе, — говорит она.

Садится на край незаправленной постели, вытирает руки о рубашку и вынимает из нагрудного кармана пачку сигарет.

— Говорят, Кейтлин скоро отпустят домой, — она щелкает зажигалкой и кивает в сторону слухового окна. — Хорошо, что мы уезжаем. В нижнем городе по-прежнему языками чешут. До чего ж осточертел мне этот городишко! Может, к следующему лету все наконец забудется.

Я молчу. Сейчас я не способен произнести ни слова: перед глазами стоит ампутированная нога. А ведь я три недели отказывался ее представлять.

В голове поднимается странный шум. Как будто заиграл оркестр китайских колокольчиков. Их звук переходит в какое-то гудение. Я опускаюсь на стул, чтобы приглушить его.

— Ты уже упаковался? — мать кивает на чемоданы и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Я осмотрела все шкафы. Ничего нашего здесь больше нет. Купальник я оставлю, дома он мне все равно не нужен. Но странно: в чемоданах вроде бы стало больше места. При этом я практически ничего здесь не оставляю. Наоборот, кое-что возьму с собой. Те вещи, что мне всегда хотелось забрать, а он ни за что бы не отдал. — Мать по-детски сосет сигарету. — Хорошо бы уехать сегодня вечером. Последний поезд в двадцать минут восьмого.

Гудение у меня в голове эхом отзывается среди холмов. Где-то там валят дерево и распиливают его на дрова. Я не отвечаю, и мать наклоняется ко мне — почти касается лицом моего уха. Она так близко, что я вижу стык сигаретной бумаги и фильтра.

— Как раз успеешь попрощаться с Кейтлин. У меня есть горшок с бегониями, они тут все равно засохнут. Снаружи, на подоконнике. Скажи, что это от меня.

— Я вчера ее навещал, — быстро говорю я.

Доносящийся с холмов вой цепных пил действует на меня странно: я слышу его и по ночам, как молодая мать слышит плач младенца, даже когда он давно заснул.

— Мы попрощались.

Мать смотрит на меня так, будто прекрасно понимает, что я вру. Из ее ноздрей вырываются клубы сигаретного дыма. Пепел она подхватывает свободной рукой.

— И поторопись, — добавляет она, будто не слышала моего ответа. — Ты еще успеешь застать Кейтлин в больнице. Когда она вернется домой, сестра Беата тебя не пустит, и все дела. Ты же ее знаешь. После случившегося она и Коперника перестала пускать.

Коперник — старый дедов кот, который всегда лежит у заднего крыльца, даже когда дом пустует. У него длинные, до земли, усы, и сдвинуть его с места примерно так же просто, как горную цепь.

К счастью, его независимость и упрямство растопили сердце монахини, и она смотрела сквозь пальцы на то, что Коперник каждый вечер ест из мисок, которые она выставляет в саду для своих кошек. Но спустя неделю после случившегося Коперник очень похудел, а однажды мы увидели, как сестра Беата кидает в него камешки, прогоняя из монастырского сада. С тех пор мы покупали ему кошачий корм в супермаркете.

Мать встает. Матрас набит старой шерстью, которая не пружинит и при каждом движении испускает запах зимних комнат.

— А то Кейтлин того и гляди подумает, что ты больше не хочешь ее видеть, — добавляет она полупшепотом.

В голове у меня стоит такой вой, что я не решаюсь разжать губы. Я киваю, но даже от этого мне больно. Мать уходит, а я еще несколько минут пялюсь на сигаретный дым, зависший под слуховым окном.

МАТЬ ЗНАЕТ не хуже моего: я не могу навестить Кейтлин. И все-таки она уже который день посылает меня в нижний город, где больница, — то со своим ореховым печеньем, то с букетом цветов из нашего сада.

Каждый раз я заворачивал подарки, спускался по пастушьей тропе и шел до утеса Шаллон. Там я просиживал на камне до самого вечера, прокручивая в мыслях кадры этого лета, — под неизменный аккомпанемент цепных пил. Вокруг обычно стелился туман, порой шел дождь. К вечеру я возвращался домой с пустыми руками. Материны подарки валялись далеко внизу под утесом.

На этот раз я чувствую себя увереннее. Зная, что Кейтлин уже дома, я перевязываю ленточкой горшок с бегониями и спускаюсь по пастушьей тропе. Я собираюсь задать докторам и медсестрам вопрос, который не дает мне покоя три недели; мне нужно знать ответ. С утеса я сползаю медленней обычного, потому что руки заняты, и шагаю дальше по извилистой дороге.

Похоже, с того дня, как я побывал в нижнем городе в последний раз (когда ходил в полицейский участок), все изменилось. Опавшие листья достают до щиколоток, резко пахнут ягоды на кустах. На плоскогорье под кипарисами валяются камни, скатившиеся сверху. Обычно здесь жужжат рои комаров, но сейчас их сменили одинокие осы — слетелись на запах гниющих плодов. Я ступаю осторожно. Кейтлин всегда оказывалась внизу первой: она любила скорость и грохот катящихся камней под ногами. («Почему ты всегда так несешься?» — спросил я как-то. «Потому что я всегда должна быть первой», — последовал ответ.)

Дорога кажется короче, но опасней прежнего. Самое трудное ждет в конце. Нужно пройти через сад месье Оршампа, причем незаметно, иначе придется взбираться обратно в гору, убегая от размахивающего тростью хозяина с собакой. Лучше всего спрятаться за компостной кучей и убедиться, что путь свободен: Оршамп дома, собака чем-то занята, машин на улице нет. Я скрючиваюсь позади кучи, зажав ногами горшок с бегониями, и вспоминаю все те разы, что мы сидели здесь с Кейтлин. Из-за вони мы всегда старались убраться отсюда поскорее. Добежали до улицы по клубничным грядкам, прыгали через придорожные клумбы на тротуар и шли дальше, стараясь не выделяться, словно влюбленная парочка.

Вонь невыносима и сегодня. Месье Оршампа нигде не видно, на дороге пусто, но я будто оцепе-

нел. Сижу за компостной кучей и жду. С меня льет пот. На улицу я решаюсь выйти минут через десять, не раньше.

Вжав голову в плечи, я иду по улицам нижнего города. Мимо меня спешат домохозяйки с корзинками и сумками, мужчины со стремянками и с мешками, усатые и в очках, дети в колясках и на велосипедах. Я жмусь к домам. Возле литейной мастерской мне мерещится, что кто-то окликнул меня по имени, но я изображаю глубокую задумчивость и не оборачиваюсь. Я делаю двухкилометровый крюк, чтобы не показываться в Сёркль-Менье, где в многоквартирных развалах живут арабы и где меня точно узнают.

Вот и вход в больницу. Стеклопанные створки автоматически раздвигаются перед посетителями, но мне кажется, они сейчас захлопнутся прямо у меня перед носом. Глазок вовремя замечает меня. Я захожу внутрь и шаркаю по белому мраморному полу, словно конькобежец, не уверенный в прочности льда. Это место мне знакомо: здесь несколько долгих недель лежал дед, прежде чем его отпустили домой умирать. Тут прохладно, повсюду стоят горшки с растениями. Но сегодня больница другая: это нора, в которую забились Кейтлин, как раненый кролик. Ее навещали все, кроме меня. Она часами разговаривала с посетителями и наверняка рассказывала им все подробности. Все знают всё — и только я ничего.